

Мирно́ва гора у впадения речки Черной Калитвы в Дон вздымается несокрушимо, и когда я в первый раз увидел ее, детское мое воображение даже не нашло, с чем ее сравнить, — такой невысказанной, всезаполняющей, фантастической реальностью предстала она тогда моему взору. Впрочем, когда я первый раз увидел ее, когда это было?..

«Сыворотки нет. Срочно в районную больницу! — сказал фельдшер. — Иначе он не выживет». Слова донеслись как сквозь мучающий горячий сон, но о чем они, я догадался: моих старших сестры и брата уже не было в живых, тогда тоже не нашлось противодифтерийной сыворотки, они там, где по бурьянному косоугору за последними избами густо разбросанные кресты, и я не хотел туда, к ним, и попытался даже объяснить склоненной над моим изголовьем семье, что не хочу туда, но лишь простонал, проскулил, как щенок.

А потом меня везли в райцентр, в Новую Калитву, дорога была дальняя, повозку трясло и подбрасывало, и я то проваливался в забытие, то приходил в себя. И когда приходил в себя, открывал глаза, видел под голым, выцветшим за зиму небом голый лес и голое поле. Час, два, вечность — голый лес налево, голое поле направо. На-

конец лес и поле остались позади, мы спустились с косогора в большую слободу и, миновав ее, выехали на просторные луга.

Здесь и открылась исполинской глыбой Миронова гора. Вернее даже, не открылась, а лишь приоткрылась в белесой наволоке февральского полудня, толком я ее не успел разглядеть, объять своим запаленным болезнью сознанием, потому что вновь — теперь уже до самой больницы — провалился в забытие, в ночь, в то оцепенение, которое есть и не смерть, и не жизнь. Быть может, я вообще не видел ее и лишь вообразил после, что видел. Или смутный величественный образ ее все-таки открылся мне в тот день? Не знаю.

В больницы мне потом в своей жизни придется попадать не однажды, но так худо, как в тот раз, далее не было. Медсестра, широколицая тетка, делала мне укол и сломала иглу. Было непривычно больно, я не знал еще, что жизнь исцеляется через боль. Уколы для меня, пятилетнего, были так жгуче болезненны, что я поначалу жаловался матери: «Разве это больница? Разве врачи так больно лечат?» — потом смирился, стих, и мать всякий раз, когда медсестра подносила шприц, опускала глаза, не в силах вынести моего взгляда, полного тоски и покорности, и, наверное, упрека.

Но миновало полмесяца, меня выписали. И хотя был я слаб, кружилась голова от долгого лежания, но все изменилось во мне: выболелось. Изменилось исподволь и в природе: стронулся снег, уже источенный мартовским солнцем, готовый истаять враз, добавь солнце еще два-три градуса; уже опасно было проезжать по мосту через Черную Калитву — поверх его, безоградного, бесперильного, пошла вода, но все-таки мы перebrались. В повозку впряжен был Гнедок, безотказный коняга, которому на своем веку через огни и воды выпало тащить и лазареты живых, и братские кладбища погибших. Долго пришлось ехать лугом, а позади, за мостом, прямо перед моими глазами снова нависала над слободой, над рекою, над луками, над всем белым светом Миронова гора. Мы ехали, ехали, а она будто и не отдалялась, и не уменьшалась. И я весь будто на вершине горы, и чувствую, как ветер продувает меня насквозь. Это тоже как забытие, и, очнувшись, сознаю, что гора проплывает мимо и что попасть мне наяву на ее меловой верх так же недостижимо, как на каменные откосы Арарата — об этой библейской горе мне рассказывала бабушка, так что название ее в моем сознании звучало гораздо раньше Мироновой кручи. Но теперь и Миронова, без далеких легенд, гора отдалялась от меня как легенда. И как загадка, которую когда-то же надо разгадать! Повозка, ровно поскрипывая, везла меня все дальше и дальше, и все расплывчатей виднелась белая меловая опояска фронтовой траншеи по склону, темные широкие воронки превратились в точки.

Мальчик тех моих лет, только несколькими десятилетиями раньше, прощался с родными местами, видел Дон, широкие луга-луки и огромную даже на семикилометровом удалении Миронову гору — глядел долго и с такой сердечной грустью, словно Миронова гора обещала ему быть хранительницей его на всю жизнь. Никто не знает и не скажет, вспоминал ли он ее, когда в конце девятнадцатого века, направляясь в Индию, преодолевал великие азийские горные цепи. Грандиозные хребты, каменные отроги, обледенелые горные пики, бритвенно узкие козьи тропы, столь же узкие висячие мосты, заваленные камнепадами древние пути и перевалы, по которым двигались войска

Александра Македонского и других завоевателей Инда. Многосаженной толщи ледники — сгустки довременной стужи. Облака далеко внизу... Поистине — «Крыша мира». Не легче и Гиндукуш — сосед Памира: фантастическая зубчатая стена — величественная, вечная, никому не подвластная, кроме как Создателю. Русский офицер Генерального Штаба, еще не выдающийся ориенталист, военный мыслитель и деятель, еще не великий геополитик, ежесекундно рискуя жизнью, пробивался через поднебесные горные преграды, и не узнать теперь, вставала ли перед его мысленным взором Миронова гора — великая гора раннего детства.

Так случилось, что вновь Миронову гору я увидел уже много спустя, когда собрался учиться в Новой Калитве в восьмом классе, — в Нижнем была только семилетняя школа. Расстояние меж слободами — более двадцати километров — было по той безмашинной, пешей поре немалым. Да и дорога не выпадала... Но теперь по ней предстояло еженедельно вышагивать долгих три года. Нас было трое из одного села, «отчаявшихся» не останавливаться на семилетке. Мы вышли из Нижнего в ранний предосенний час, чуть взволнованные, чуть опьяненные тем, что одни, без пригляду, без доуки и окрика, такие вольные, дайте крылья — полетим. Воскресный день занимался чисто, свежо, по-августовски пахуче. Миновали глухое Провалье, спустились и поднялись из Тупки — глубокого многоверстного яра, и снова — дорога вдоль леса, вдоль поля. За семь лет с той поры, как эти места впервые явились моему взору, ничто здесь, наверное, не изменилось, но какое же все было иное! Где те нагие поля и нагие леса?! И мягкая неровная стена леса-изумруда, и скатерть-прожелть скошенного поля с темными лоскутками осота открывались в притягательной красоте, все новыми красками и полутонами радуя глаз. На первый взгляд, дуб да ясень — вот и весь лес. А всмотришься, вслушаешься — неисчислимое множество и деревьев, и трав, и птиц. Белым виденьем мерцает из зеленой чащобы береза. Салатово смуглеет осина. Листья дикой груши едва начинают желтеть, такие прозрачные и словно чувствующие и знающие, что осень — близко. Красными каплями стынут в зарослях плоды шиповника. И высокая узорчатая рябина на опушке пламенна и чиста. Она не шелохнется, не качнется, и все же не она ли та, что всходила над детской нашей судьбой пронзающей душу песней «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», какую пели на горьких поминных наши юные, рано состаренные войною матери?

Часа через три с долгоуклонного тянигужа, с холмов-пригорий, со скатов и склонов, на каких раскинулась Старая Калитва, старшая сестра Новой Калитвы, открылась картина не менее пленительная, чем прежде: распахнутая во все стороны даль, Дон и задонские леса, обширные луга-луки во всю ширь от одной слободы к другой, и в мареве-далеке, за сочными луками — Миронова гора. Она возносилась выше сопредельных ей круч — полновластная хозяйка окрестных пространств, какая все эти годы непосильной загадкой жила в моем детском сознании.

Теперь я знал, что я на нее поднимусь!

Чудной он был человек, наш преподаватель истории, которого за глаза мы станем называть не по имени-отчеству, но и не прозвищем, — редкого наставника минует сия чаша, — а просто и значительно: учитель. В своей педагогической среде был не столько уважаем, сколько жалеем, подчас и посмеивались над ним, поскольку, «чужак» и житейский «не-

удачник», многое из того, что обычно имеют и умеют, не имел и не умел. Не имел просторного дома с верандой, какие уже не редкость были в его слободе, и ежели навещали гости, он в летнюю пору располагался с ними в саду, под старой вишней, потому что в доме его высокие вынуждены были пригибаться, чтоб не задевать головой потолок; не имел сменного костюма, в котором ходят на праздники и на приемы к начальству; не умел — не хотел пить водку; не умел кричать ни на старших, ни на младших... Правда, кое-что он и умел: писал хорошие, о прошлом родного края, статьи, — тогда пишущий человек был в редкость; умел править мотоциклом и машиной — опять-таки в пору безмоторности в слободе. Самое же удивительное — не было такого предмета, о котором бы он не мог поговорить со знанием дела, обстоятельно и внятно. Наверное, не только историю, но и биологию, и словесность, и астрономию он смог бы преподавать безупречно. По части академических знаний он, пожалуй, был ровней столичным профессорам, как позже мы не раз в том убеждались. В выпускном классе кто-то из нас пустил по кругу шутивное: «Он знает даже то, чего не знает...» Он закончил две аспирантуры, его приглашали преподавать в столичный вуз, а нет, вернулся в отчую голодную глухомань — не странность ли?

Разумеется, обо всем этом нам стало известно позже, но «странности» начались сразу же в первосентябрьский день, на вводном уроке истории. Учитель вошел как-то неслышно, вдруг. Точно сквозь стену прошел. Невысокого роста, в серой рубашке, без пиджака. Он, поздоровавшись, пристально и медленно поглядел на класс, вбирая всех нас за стекла своих очков. Знакомясь, он прочитал наши фамилии по журналу. Затем — по партам: называл по памяти фамилию за фамилией. Дальше — мы догадывались, что последует дальше. Привычное для первого урока, общее, вводное: «Что изучает история? Она изучает прошлое...» Последовало, однако, другое: учитель спросил, кто из нас бывал на Мироновой горе, и когда в утверждение раздалась лишь немногие голоса местных, большая же часть класса, собранного из разных ближних и дальних деревень, в некотором недоумении молчала, — он сказал: «Ну что ж, тогда в самый час! Правда, сегодняшний наш урок продлится, быть может, дольше обычного». — Он улыбнулся, словно объединяя нас и себя в некоем невинном заговоре, в первой тайне класса.

Взбираться на Миронову гору оказалось вовсе не трудно и не долго, ее южный склон, начинаясь сразу за слободой, тянулся полого, белея меловыми осыпями меж жесткими бурьянными кустками; не прошло и получаса, как мы были там.

Мы, а не я...

То была отроческая, только в отрочестве и возможная слитность нас, еще, в сущности, не знакомых четырнадцатилетних. То была объединенность нас в каком-то радостном некорыстном чувстве, когда весь мир открывается в своей широте и красе, и мнится: всегда в нем будет хорошо, чисто и солнечно. Лишь на миг вырвал меня из этого чувства нерасторжимости со всеми на высокой горе робкий, пристальный, улыбающийся карий взгляд соклассницы, имени которой я еще не знал. Взгляд нежности, любопытства — на миг мы оказались двое среди многих, но именно на миг, что-то отроческое, краткое, летучее... Только выпадет такой час, когда мы с нею, кареглазой и длиннокосой, вновь окажемся на Мироновой горе.

— Видите, сколько простору во все концы, — сказал учитель. —

Сколько веков, сколько народов, сколько событий на этом просторе! И скифы, и половцы, и славяне... Дикое поле, Смутное время, донские казаки, петровские флотилии. Последняя война. Великая Отечественная. Вот позднее вы и соедините все. Это и будет понимание истории. А пока мест смотрите, вглядывайтесь...

Родина!

Ее здешний вековечный образ — синий Дон. Река связывала и древние кручи, и молодые пойменные отавы, и полузатопые лозняки, и редкие лодки в некий извечный ритм, и мерным его звучанием был наполнен окрестный мир. Телеграфные провода были видимыми и слышимыми вестниками этого извечного и новоданного ритма.

— А окопы... надолго они их рыли, — молвил учитель, и в коротком отвлеченном «они» послышалось что-то чуждое, враждебное, смутные силуэты пришельцев в зеленом, мышшином, иноземная речь, резкие трассы пуль в вечерней полутьме, холодный декабрь сорок второго... Они!

Окопы, воронки пятнали гору густо и во всех направлениях, заметней и резче других выделялся белый рубец траншеи по северному склону, широкая, заброшенная, никому не нужная траншея, которая видна была мне и прежде, пятилетнему. Траншея стлалась в полусотне метров. Но учитель глядел дальше, в луга, в Задонье. Что видел он там? Я тогда не мог еще предположить, не знал.

Командир дивизии, а по стратегическому мышлению — полководец, мой земляк, пророчески указавший на главные опасности и силы грядущей русской катастрофы, стоял на гребне заросшей соснами горы, перед ним вздымались Карпаты — родина раннего славянства, но впереди были окопы германские, австрийские, шла Первая мировая война, и уже был очевиден для него трагический жребий его родины, и картины прожитого проходили перед ним чередой. Может, виделась ему и Миронова гора, но даже ему, военному провидцу, геополитику, пусть уже и предугадывавшему смутный силуэт Второй мировой войны, едва ли являлось на мысль, что во Второй мировой немцы, австрийцы, итальянцы не только дойдут до его далекого родного Дона, но окопаются на Мироновой горе с такими запасами убийственного металла, что его достало бы на погибель целым дивизиям.

Вновь я побывал на Мироновой горе в десятом классе, даже так: по окончании его, после выпускного вечера. Неповторимый, никогда уже потом нигде не испытанный час воли, горизонта во все четыре стороны, хмель от молодости, от выпитого вина. Девушки, уже независимые от учительского пригляда... И так получилось, что я пошел с той, что нравилась мне не более других, и пошел с нею, кареглазой и длинноносой, не на берег Дона, как многие, а на Миронову гору. Да, подспудно было это желание: взойти на вершину с прекрасной девушкой, для тебя единственной, таящей идеал, — тогда еще это слово сияло чисто и обещающе. Но ведь она для меня не была такой... По справедливости говоря, она была милой, как вспоминается теперь, — красивой. Но что делать: не та, не единственная, не суженая.

Зыбкий очерк слободы остался позади, и мы стали взбираться по затравелому склону вверх, но раз она по-девичьи и уже по-женски почувствовала свою неединственность для меня, не было и особенного желания идти

вверх, и мы поднимались, задерживая шаг, перебрасываясь словами о разном, несущественном, мы... как бы и не знали... как нам дальше.

Хотя мы и находились у самой маковки Мироновой горы, однако, чувствовал я, гора была вдалеке от меня, тугой глыбой главенствуя во всем окрестном, как тогда, в детстве, в час моей болезни. Но и теперь — словно болезнь некоей предписанной скованности. Если бы мы были постарше, может, дали бы выход этому состоянию «вместе-врозь», ненайденности той, единственной, и того, единственного, в простой и грубой игре...

По счастью, этому состоянию не дано было долго продлиться: июньская ночь — как вспышка темного пламени, и рассвет наступает скоро. Далеко в задонских лесах показалось алое солнце; мы глядели туда, в задонские леса, из их смутной совокупной массы вырывая каждый что-то свое, и вот произвольно и враз посмотрели друг на друга, глаза в глаза и... рассмеялись. Разомкнулся круг, и ей, и мне опять открылась жизнь во всей своей приманчивости — с солнцем, придонскими просторами, с утренними птицами и будущими встречами. И во всей своей непостижимости!

А у Мироновой горы бывал я еще не однажды, проезжал мимо и даже взшел на нее еще раз. В третий раз, как в доброй русской сказке. Выдалось это четверть века спустя с той поры, как я поднялся на нее впервые. То есть позади уже стлалась важная, может, главная полоса моей жизни, в какой было многое, что вообще отпущено человеку: вера и боль первой любви, горестное «прощай», ночные огни полигона, корабль в море, семья, тоска матери, болезнь сына, бессонницы, дорога в непроглядном от вьюги зимнем поле, горящие нивы и веси, верные друзья и неотменимые враги, видел, как рождаются и умирают люди и звери. В третий раз я поднимался на Миронову кручу уже после того, как меня ветрами судьбы заносило на горы Карпатские и Балканские, к подножью Казбека и Арарата, на Уральский хребет и на Забайкальские сопки, — казалось бы, что перед ними Миронова — эта пусть и геологическими временами явленная мергелевая масса, разве и теперь она для меня тайна?

Холм среди прочих придонских холмов, прибрежная круча в ряду других, пусть и более высокая. Кустки дерезы, белые заплаты по склонам — осыпь мела, остатки глухих траншей, бурьяны, чабрец. На вершине геодезическая вышка-верхница, строгий ветер пахнет степью. И осунувшаяся фигура пожилого учителя больно напоминает, как много воды утекло из Черной Калитвы в Дон с той далекой осенней поры. Учитель давно на пенсии. Все эти годы мы с ним переписывались. И я знаю, теперь-то знаю, о чем думал он, когда поднял свой класс, может быть, на главную для нас вершину.

Из военного донесения: «Взвод автоматчиков... овладел высотой, удерживал в течение 28 часов... все пали... Все... посмертно награждены...»

Сколько их в этом коротком «все»? Взвод? Но речь о сопредельной высотке. А длинные цепи — похоронные списки тех, кто штурмовал Миронову гору, чьими телами был усеян восточный ее склон?

Давнее, столь давнее (никакого следа, кроме белых траншейных рубцов по скосу), и длинная баржа, застывшая на излучине реки, редкие лодки, кони на лугу, белые полосы окрестных сел — все такое мирное и в такой тишине, что нет, не было, не могло быть той давней, страшной боковины горы, усеянной телами погибших! Но то ли хмарь заслонила на

миг солнце, то ли так тому надо быть, но давнее и через столько лет окзалось столь сильным, что «выбило» меня из реальности.

По истоптанному, исхлестанному, выжженному огнем черному снегу бегут вверх, оступаясь, падая и поднимаясь, но все меньше, все меньше их поднимается...

По тяжкому скосу идут в наступление наши. И враждебные пулеметы шлют навстречу стремительную смерть, неминуемую гибель. В их неумолимом железном стрекотанье было какое-то зримое торжество Зла, казалось, сами эти куски металла распалются, оживают в беспощадной жажде убивать. Пулеметы строчат не утихая, я чувствую их лихорадочно-надрывную железную дрожь, но ничего не могу поделывать, весь какой-то ватный, весь опутанный веревками, — я на самой вершине, среди врагов, их траншей, наполненных металлом и порохом.

Завершением этого сатанинского искуса было: с наступавших в один какой-то неуловимый миг словно бы истаяли, улетучились шинели, и вот они, совсем еще молодые парни, вздымаются вверх — все в белых рубашках, а с ними — рука к руке, ладонь в ладони — все в белых, голубых и сиреневых платьях, почему-то и сиреневых, их любимые. Их невесты.

Но заслан косогор телами взрослых, чаще юных поволжан, чьи дивизии — жертвенная помощь Волги близкому Дону — атаквали здесь беспрерывно и безуспешно. И со стыдной горечью я увидел теперь клочок собственного прошлого: нас двоих в ту июньскую ночь после выпускного вечера, празднично пришедших тогда сюда, двоих, не ведавших, что косогор был устан убитыми, которые до последнего часу хотели верить и любить.

— Проклятый мергель, — сказал учитель, — здесь и дереву не вырасти...

— А надо было брать ее? С такими жертвами... — в тысячный раз спрашиваю я — себя. Учителя. Моего отца. Всех погибших. Всех, кто в ответе за погибших.

— Высота стратегическая. Крайний верхний фас битвы на Волге, его второй этап, — отвечает учитель. — Отсюда возможен был фланкирующий огонь. Брать надо было. Видишь осколок? — он зацепил ногой рубчато-рваный, ржавый кусок железа.

Сравнение теперь напрашивалось само собой, и было оно жесткое, немирное: гора — исполинская каска!

Причудлив язык военных донесений: сухое, навичное — «удерживал», «овладел» и тут же горделивое — «никто не отошел ни на шаг с родной земли».

Родная — как чужая. Ей же все равно — мы или они. Она же не уменьшилась, не съежилась, не разверзлась и не погребла непрошенных чужестранцев, когда наши, наступая, сламывались в бесчеловечных атаках? Почему же мы так мучительно тянемся к ней? «Овладеть высотой» — как ныне это странно звучит.

О никогда бы впредь не покорять кровью Мироновой горы! Взойти бы и воскликнуть на весь Божий свет: «Братья, мир един, и для блага он. Что же мы погрязаем в войнах, розни, ненависти, неправде? Если однажды сошли с пути человеческого, почему так долго вышагиваем каннибальским бездорожьем? Как же тогда с заветами великих умов, со священной мечтой о всечеловеческом единстве и братстве? Неужели и дальше: кровь за кровь, смерть за смерть? Бывают времена, когда эти слова — необходимость. Но невозможно же всегда так: «кровь за кровь!»

...Юная, кареглазая и длиннокосая, легко поднималась по склону, она шла так сегодня, вчера, треть века назад, столетия назад — шла ко мне, шла со своими сверстницами к тем юным воинам, неся любовь и веруя в любовь ответную. И не было в долгие часы безнадежных атак, и не было ничего, что насильно обрывает человеческую жизнь...

Я на вершине горы, а внизу Дон меж лесами и лугами, а вокруг на дальние километры вечность, «бесконечная Россия, словно вечность на земле», и чувствую, вопросы выстроились, словно воины перед сражением, и знаю: Миронова гора — моя вершина... первая... последняя... непокоренная!